

## Дискуссия

**И. САЛЕНИЕЦЕ:** Я работаю на кафедре истории и в центре устной истории Даугавпилсского университета. Сознательно об этом упоминаю, потому что в преподавательской работе приходится обращаться к вопросам, которые на нашем коллоквиуме обсуждаются в ходе возникающего время от времени обмена мнениями о призвании и назначении историка: то ли он, цитирую, «создает абстрактные конструкции», то ли занимается «добротной реконструкцией». По моему мнению, этот спор беспочвенный, потому что даже если историк полагает, что он создает позитивистскую реконструкцию, всё равно тему и план реконструкции выбирает он сам, а самое главное — именно он задает вопросы источнику, который содержит в себе ответы на самые разные и бесчисленные вопросы. Только от историка зависит, что он ищет в источнике.

То же самое, наверное, можно сказать и о комментаторе. Скорее всего, доклады, представленные нам, так же неисчерпаемы, как и исторические источники, со временем они и станут таковыми. От комментатора зависит, какие проблемы он увидит, что он отметит. Для меня эта секция непростая по двум причинам. Прежде всего война — самое бессмысленное изобретение человечества, и поэтому я всегда крайне неохотно углубляюсь в эту тему. Однако еще более сложным было то, что в докладах, по крайней мере, в трех из них, происходит обращение к теме блокады, к реалиям, даже косвенное прикосновение к которым — это испытание. Мучительно воспринимать эти реалии. Непростые доклады — глубокие, взволнованные и волнующие, и не особенно располагающие к аналитическому препарированию, а заставляющие сопереживать, вызывающие огромный интерес. Попытаюсь обобщить некоторые свои впечатления.

По-моему, несмотря на некоторые хронологические и другие различия, поскольку Александр Сумпф говорил о ветеранах Первой мировой войны, а Алексис Пери, Эмили Ван Баскирк и Полина Барскова в разных аспектах — о блокаде, доклады, в общем-то, об одном. Они о поведении, о самоощущении и самосознании людей в экстремальной ситуации, на грани между жизнью и смертью, по словам Филиппа Арьеса, «перед лицом смерти». Общим для действующих лиц является и то, что ситуация, в которой они оказались, не являлась результатом их собственного выбора. Они в эту ситуацию были *поставлены*, в том числе солдаты, которые попали на войну в результате мобилизации. Каждый из них по-

своему отказывался мириться с этой ситуацией, отказывался просто поддаться ей. Они противопоставляли этой ситуации свою человеческую субъективность. Они противопоставляли себя угрозе смерти, и косвенно — силам, по воле которых они оказались в этой ситуации. Противопоставляли по-разному. В докладах о блокаде, например, мы видим, что это происходило через творчество, — научное, художественное, литературное, комбинированное, или, говоря словами Барсковой, «гибридное». В иных случаях — через отношения с другими людьми, для солдат — через выполнение воинского долга, кроме дезертиров, конечно, хотя в их поведении тоже есть элемент противостояния. Во всяком случае, это сближает доклады, сближает эти темы. Развести их приходится по той причине, что не для всех персонажей возникает новая ситуация, для некоторых реальностью становится смерть.

И опять-таки вопрос, который уже звучал, но здесь он мне кажется особенно актуальным: а что происходит с героями, когда необходимость в героизме отпадает? По крайней мере Александр и Эмили убедительно показывают, что они вновь оказываются в сложной ситуации: угроза физической смерти от руки врага ушла, но возникли трагические внутренние противоречия: то, что казалось спасением, избавлением и каким-то апофеозом человечности, приводит к новому испытанию, к новым проблемам, к разочарованию, одиночеству и так далее.

В общем, все представленные нам случаи очень откровенно и выразительно демонстрируют то, что вслед за Иоганном Готфридом Гердером я назову человечностью в том смысле, в каком он ее понимал, связывая исторический прогресс вообще с утверждением именно человечности. Для него это был один из критериев, по которым можно судить, насколько человечество прогрессирует и движется к своей цели. И все рассмотренные случаи — это очень яркое, выразительное проявление человечности, сохранение человечности перед лицом смерти. Люди черпали силу в творчестве, в общении, в других людях, но мне показалось очень интересным, что почти никогда — в Боге. Лишь в докладе Эмили указано, что Лидия Гинзбург упоминает об этом. Мой вопрос: действительно ли в других исследуемых источниках отсутствует обращение к Богу или же этот аспект показался несущественным авторам докладов о блокаде?

Почему для меня так важен этот вопрос? У нас в городе есть мемориал, посвященный солдатам Красной армии, погибшим в 1944 г. Не так давно, лет пятнадцать назад, на стелах, под которыми покоятся, как считается, некоторые из солдат, участвовавших в боях за город, рядом с указанием годов жизни и смерти появились вдруг православные кресты. Год смерти на стелах указан один и тот же — 1944, а время рождения — разное. И там, где годы рождения 1800-е, крест воспринимается как-то иначе; но там, где высечены 1920-е гг. возникает вопрос: а как бы сами погребенные восприняли появление над ними этого креста? Читая доклады, я думала, неужели действительно для советского человека в 1940-е гг. религия — это уже анахронизм, это уже нечто несуществующее?

Занимаясь устной историей и общаясь с жителями Латвии довоенных поколений, я вижу отчетливо, что для них советизация, начавшаяся во второй половине 1940-х гг., была неприемлема среди прочего именно из-за ярко выраженной антирелигиозной направленности. Почему я об этом говорю сейчас — потому что процессы 1940–1950-х гг. в Латвии и в целом в Балтии и то, что после

1917 г. происходило в России, сопоставимы. Значит, могут быть сопоставлены 1940-е гг. в России и 1960-е гг. в Балтии. Полагаю, что в 1960-е гг. в Балтии религиозность значительной массы местного населения — это факт. Мне кажется, что и в России в 1940-е гг. внутренняя религиозность тоже должна быть фактом. В противном случае то, что мы говорим о сталинизме, о советизации, о политических практиках, особого смысла не имело бы. То, что в Балтии происходило в 1940-е гг., было, мне кажется, сознательным внедрением тех самых практик, которые апробировали в Советском Союзе в начальный период его существования. Поэтому я бы хотела предложить в качестве темы для размышления также возможные сопоставления.

**Н.А. ЛОМАГИН:** Уважаемые коллеги, для меня большая честь быть здесь среди коллег-историков, иметь возможность высказать свои суждения по поводу представленных текстов. Конечно же, сложность состоит в том, что я историк, а мне приходится комментировать тексты, написанные литературоведами. Вчера я со своей супругой, кандидатом литературоведения, пытался осмыслить многие вещи, которые есть в этих текстах, и она мне предложила придти вместо меня и поговорить об интертекстуальности, о механизмах компенсации, обо всех тех сюжетах, которые представлены в текстах, но, тем не менее, я пришел сюда сам.

Одна из главных проблем для меня — проблема освоения парадигмы тех инструментов, которыми пользуются сейчас для понимания сущности изменения настроений в период блокады. Я прежде всего попытался для себя обнаружить приращение исторического знания — то, чего я не знал и что я узнал, прочитав эти тексты. То, чего я не видел в сотнях дневников, которые обнаружил здесь, в Санкт-Петербурге — Ленинграде, чего нет в Колумбийском университете в Бахметьевском архиве, чего нет в Гуверовском институте и т. д. Мне кажется, что основной вклад коллег, которые посвятили свои работы войне и блокаде, связан с насыщением нашей истории о блокаде Ленинграда очень яркими образами — людьми, которые боролись, находили для себя разные стратегии выживания, и одной из таких стратегий выживания было, собственно говоря, ведение дневника.

Любое занятие, которое люди находили в то время, в том числе и умственное, научное, литературное, давало возможность выжить и давало смысл. Не случайно среди выживших значительное число интеллектуалов, хотя, казалось бы, с точки зрения разных экономических конструкций интеллигенция должна была вымереть прежде всего, поскольку у нее не было навыков ни обмена, ни работы на черном рынке, им это было противно. По огромному количеству документов мы это обнаруживаем.

Выбор П. Барсковой дневников для своего анализа чрезвычайно удачный и интересный. Действительно, во всем многообразии оставленных и дошедших до нас источников личного происхождения, пожалуй, до чтения Ваших материалов я встречал, наверное, только дневник Остроумовой-Лебедевой, где есть совмещение текстов и рисунков, набросков. Может быть, в будущем имеет смысл дополнить Ваше восприятие модели, которую Вы выстраиваете на основании дневников Никольского и Чуйко, дневником Остроумовой-Лебедевой, может быть, самой известной художницы из тех, которые находились в городе во время блокады.

О том, что я искал в тексте доклада и не нашел. В дневниках, которые мне довелось посмотреть, достаточно много места занимает тема смерти, эстетизации смерти, подготовки к смерти, как человек готовит себя к ней, как он себя видит со стороны, каким он хотел бы себя видеть, когда уже его физически не будет. Это желание достойной смерти и достойного погребения с описанием сценария, как это будет: наступит некое время «Ч», когда человек будет уже не в состоянии контролировать себя, и он сделает вот это и вот это. Эта сторона, мне кажется, тоже чрезвычайно важна.

Наверняка вы знакомы с исследованиями группы ученых во главе с Максимовым в Институте Бехтерева в 1943 г., которая предприняла попытку изучения блокадного синдрома, психики и психологии паралича воли и того, каким образом этот паралич воли можно было преодолевать. Не только в дневниках мы имеем возможность наблюдать сложную борьбу с самим собой, стремление зафиксировать в условиях реального времени те нюансы блокады, которые впоследствии зарегистрировать или зафиксировать не удастся. Будучи голодными, ученые это делали отстраненно. И когда вы говорите о том, что чрезвычайно сложно человеку, который испытывает травму, зафиксировать адекватно эту травму, представьте себе не художника, а психиатра. Вероятно, существует еще одно возможное направление исследования — с точки зрения врачей-психиатров, и первичные работы в принципе доступны. Может быть, они в какой-то степени помогут двигаться дальше.

Текст А. Пери тоже чрезвычайно глубокий, интересный как с точки зрения композиции, так и выбора дневников. Когда я начал читать, у меня был вопрос, а почему, собственно говоря, вы выбрали эти два дневника, но по мере чтения я для себя на этот вопрос ответил. Конечно, боязнь самого себя, стремление посмотреть на себя со стороны, и, конечно же, предложенный Алексис подход к анализу источников для меня как историка чрезвычайно важен. Во многих текстах я, к сожалению, не увидел того, что увидели вы. Отвечая на весьма провокационное заявление автора о том, есть ли у блокадной темы будущее, я думаю, что у блокадной темы оно есть. Именно в междисциплинарности, в сочетании исследований социологических, лингвистических, исторических и экономических я вижу определенную перспективу.

Возвращаясь к работе Барсковой, хочу отметить, что говоря о художниках, исторически мы имеем в виду разного рода традиции: и традиции социалистического реализма, и натурализма. Каким образом они проявились в том, что ваши объекты исследования воспроизводили? Далеко не все были последователями Филонова. Мне кажется, что и это направление исследования тоже заслуживает внимания.

Э. Ван Баскирк представила исключительный текст, я восхищаюсь тем, что вы сделали. Для меня вы во многом открыли Гинзбург, которую я читал, вы помогли прочесть ее по-новому. Единственное соображение касается вопроса о религиозности в заблокированном городе. На самом деле религиозность в Ленинграде в период войны чрезвычайно возросла. Причин этому достаточно много, они очевидны, приведу лишь один факт. В конце войны, в январе 1945 г., управление НКВД подготовило докладную записку «Состояние партийно-просветительской работы и антирелигиозного воспитания», в которой подчеркивалось, что церковные учреждения

пользуются куда большим авторитетом и популярностью у населения, чем разного рода партийные клубы, красные уголки. Церкви посещало больше людей, нежели разного рода партийные мероприятия. И это возникновение альтернативной власти, альтернативного авторитета вызывало чрезвычайно серьезные страхи и опасения у органов государственной безопасности.

**Л.А. БУЛГАКОВА:** Остановлюсь только на докладе Александра Сумпфа. По поводу терминов скажу, что буквальный перевод с французского «бывший сражающийся» по-русски неприемлем. Прежде у нас называли таких людей фронтовиками, потом участниками войны. Теперь их чаще называют ветеранами войны (у нас есть еще и ветераны труда). В настоящее время этот термин толкуется расширительно. К ветеранам войны приравнены блокадники, которые не воевали, и даже блокадные дети, которые во время войны лежали в колыбели и не имеют ни военного опыта, ни боевых заслуг, но, несомненно, являются жертвами войны. Слова «инвалид» мы избегаем по соображениям политкорректности. Следуя этой логике, надо Дворец инвалидов в Париже переименовать во Дворец людей с ограниченными возможностями. Лучше нам придерживаться терминологии того времени и называть вещи своими именами.

Не могу согласиться с утверждением автора о малой роли политических настроений и их влияния на мировоззрение инвалидов. Этому противоречит сам текст доклада, в котором говорится о развале армии, дезертирстве, анархии, неповиновении властям и пр. Полковые и т. п. комитеты и советы депутатов для многих солдат стали школой самоуправления. Отсутствие патриотизма и боевого духа в армии, вероятно, можно объяснить непониманием причин войны, усталостью солдат и их недоверием к царскому правительству. После поражения в Галиции, отступления русских войск и обнаружившейся неподготовленности армии к войне произошла смена настроений в обществе: патриотический подъем и «священное единение» сменились разочарованием и острой критикой царского правительства. Усилилась политическая составляющая в деятельности крупнейших общественных организаций — Земского и Городского союзов.

Наконец, самые жгучие вопросы того времени — о мире и о земле — являлись вопросами политическими. Союзники поддержали Временное правительство и, нуждаясь в русском «пушечном мясе», подталкивали новую власть к продолжению войны до победного конца, слишком поздно осознав, что этот путь ведет Россию к национальной катастрофе. Крайняя политизация настроений была характерной чертой этого времени. Война стала мощным катализатором революции. Не думаю, что нам надо пересматривать эту точку зрения.

Относительно государственной монополии на социальное обеспечение отмечу, что этого требовала русская общественность, в частности Союзы земств и городов, деятельность которых разворачивалась преимущественно за счет государственных субсидий. Русские общественные деятели исходили из того, что социальное обеспечение должно получить твердые государственные гарантии и стать правом, а не милостью. С приходом к власти Временного правительства старые благотворительные структуры разрушились, источники их финансирования иссякли. Революция сделала богатых людей нищими. Благотворить ста-

ло не на что. Если в стране и остались богачи, то типа подпольного миллионера Корейко, запечатленного в романе «Золотой теленок». Положение инвалидов в Стране Советов было незавидным. Понадобилось не одно десятилетие, чтобы наладить систему социального обеспечения в разоренной стране. При этом надо учесть, что абсолютное большинство солдат-инвалидов в царской России тоже влачили жалкое существование. В лучшем случае они получали грошовые пенсии, и только немногим счастливицам удавалось пристроиться в инвалидные дома.

Что касается одиночества демобилизованных солдат и инвалидов, то оно не было всеобщим. Современники отмечали резкое увеличение браков после объявления мобилизации. Священники не успевали венчать призывников, и многие молодые новобранцы уходили на войну неженатыми. Однако следует помнить, что русская армия по составу являлась крестьянской, а браки в крестьянской среде были ранние и семьи большие, патриархальные. В сентябре 1917 г. число членов солдатских семей, получавших пайки, превысило 37 млн человек. Это были жены и дети воюющих солдат, а также их близкие родственники, содержавшиеся трудом призванных. Так что у большинства солдат был крепкий «тыл».

Теперь попытаюсь ответить на главный вопрос Александра: почему демобилизованные солдаты и инвалиды Первой мировой войны проявляли низкую активность в объединении и создании своих организаций? Конечно, сыграла свою роль политическая разобщенность, разделение на белых и красных, а также географическая удаленность солдат друг от друга. Мало того, что они происходили из разных уголков России, Гражданская война разметала их по стране. Участие в мировой войне не осознавалось ими как доблесть — гордиться особенно было нечем, и лучше не вспоминать об этих годах, как о страшном сне.

На неустойчивости солдатских организаций не могло не отразиться отношение советской власти к минувшей войне. Напомню, что пришедшие к власти большевики были пораженцами. Если при царе и при Временном правительстве эту войну в печати называли Великой и Отечественной, то большевики именовали ее империалистической и мечтали превратить мировую войну в мировую революцию. С этой точки зрения солдаты мировой войны защищали не родину, а чьи-то империалистические интересы. Отношение советской власти к этой войне и ее участникам ясно выразилось в отказе предоставить им даже минимальные социальные преимущества.

Кроме того, как показали дальнейшие события, членство в общественных организациях представляло реальную опасность, тем более это касалось лиц, прежде состоявших на царской службе. Вполне возможно, что демобилизованные солдаты рано осознали эту угрозу. Участие в мировой войне не являлось преступлением, но в то же время не было заслугой. Наконец, чтобы выжить, бывшим солдатам мировой войны приходилось думать о хлебе насущном, а не предаваться воспоминаниям.

Вряд ли удастся в массовом масштабе проследить их судьбы. Будет большой удачей, если Александр сделает это на микроуровне — на примере какой-нибудь военной части или полка. Я полагаю, что их судьбы во многом зависели от того, на чьей стороне они находились в годы Гражданской войны. Так, прославленные маршалы Советского Союза Жуков, Конев, Рокоссовский



во время Первой мировой войны были унтер-офицерами царской армии, а затем стали красноармейцами.

По-моему, доклад представляет собой развернутый план-проспект будущей книги. Замысел Александра грандиозен. Сделано уже немало, но он только в начале пути. Хочу пожелать ему успеха в осуществлении его творческих планов.

**И. ХАЛФИН:** У меня короткий вопрос к Э. Ван Баскирк. Честно говоря, для меня то, что вы сказали о Гинзбург, было во многом откровением, потому что я знаком с ее работами, но гораздо меньше с ее дневниками. И ваш доклад наводит меня на следующие вопросы. Как к ней относиться — как к субъекту анализа или как к объекту анализа? Используем ли мы, как это широко принято, взгляд Гинзбург на то, как понять действительность блокады и вообще советской истории, или она часть этой истории? Что интересного для меня в вашем материале — некая схожесть ее подхода с подходом партийных структур. Она рассматривает общество, рассматривает его через научную призму, занимается описанием и классификацией общества через некий социологизм, и у нее есть назидательный, воспитательный тон. То есть она входит в соревнование с официальными структурами по отношению к миротворческому проекту революции, что вызывает ассоциацию с известной провокативной статьей Жени Жуковского об Ахматовой, выстраивающей культ самой себя, который в некоторой степени напоминает культы вождей советского периода.

**С.И. ПОТОЛОВ:** Хочу сказать добрые слова в адрес А. Сумпфа. Коллега представил очень интересную работу, причем, понятно, я в этом согласен с Л.А. Булгаковой, работа еще только начинается, и можно посочувствовать докладчику, потому что материалы по этому периоду, конечно, ему будет очень сложно собирать. Я опять-таки соглашусь с Людмилой Алексеевной, война была в понятии советских властей империалистическая, и потому тогда в СССР не производился учет, как после Второй мировой войны, ее жертв, инвалидов, хотя в этом тоже были большие пробелы, но это совсем другие реалии. Поэтому вопрос источников будет играть первостепенную роль, и я хотел бы несколько слов сказать о тех дополнительных материалах, которые следовало бы привлечь.

Я имею в виду участие русских в войне, но не в России, а за рубежом, прежде всего во Франции, в составе Русского экспедиционного корпуса, который был по просьбе французской стороны туда направлен, а это примерно 45 тыс. солдат, четыре бригады в составе восьми полков. Правда, они не все воевали на Западном фронте, две бригады дислоцировались на Балканах, в Македонии. Об этом у нас раньше как-то мало писали, сейчас только появились публикации в «Новом Часовом», известны также воспоминания маршала Р.Я. Малиновского, который воевал в составе Русского экспедиционного корпуса, и кроме того генерал А.А. Игнатьев в своей знаменитой книге воспоминаний «Пятьдесят лет в строю» об этом тоже пишет.

Но есть и другие источники. Я имею в виду не только солдат Русского экспедиционного корпуса, но и просто русских добровольцев, которые жили во Франции и участвовали в войне волонтерами. Совсем недавно, в 2004 г., вышла большая книга-альбом, посвященная Русскому экспедиционному корпусу, ее издала

ИМКА-Press. Когда я был в 2005 г. в очередной научной командировке в Париже, мне в русском книжном магазине ИМКА-Press подарили брошюру 1920-х гг., посвященную русским волонтерам, изданную в эмиграции на русском языке, причем она даже не была разрезана, т. е. книга пролежала с тех пор нетронутой, и было очень любопытно ее полистать, почитать, посмотреть многочисленные документальные иллюстрации.

Но с этими фактами я еще раньше столкнулся в архиве Международного института социальной истории (МИСИ) в Амстердаме. Я сейчас готовлю большую книгу неопубликованных воспоминаний, писем и других бумаг бывшего сотрудника департамента полиции Леонида Петровича Меньщикова, которой после отставки в 1906 г. и отъезда за границу занялся на основе вывезенных секретных документов разоблачением полицейской агентуры и провокаторов. Основная часть архива находится в МИСИ, в его личном фонде, другую часть, а также библиотеку, Меньшиков, очень нуждавшийся в эмиграции, продал в конце 1920-х гг. Русскому зарубежному историческому архиву. Сейчас эти документы (кроме библиотеки) в Москве, в ГАРФе. Эти две составные части одного фонда содержат много интересных и разнообразных фактов.

В фонде Меньщикова в Амстердаме есть три больших дела, которые посвящены деятельности Комитета помощи русским волонтерам. Этот комитет возник в 1915 г., но наиболее интенсивно он занимался этой деятельностью после 1916 г., и, как я понял, Меньшиков был одним из его секретарей. Но он, особенно до 1917 г., опасаясь преследования своих бывших коллег из царской охраны, обычно укрывался под различными псевдонимами, в частности — Иванов. В указанных делах сохранились первичные материалы, отражавшие сбор денег, одежды, продовольствия среди русских эмигрантов во Франции и даже, может быть, в других странах. Комитет старался обеспечивать нуждающихся, особенно тех, кто после ранения находился в госпитале. Имеются официальные документы этих выдач и, кроме того, большое количество писем с благодарностью за эти весьма скромные воспомоществования. Это пронзительные человеческие документы — письма тех, кто получал 10—15 франков, какие-то небольшие продовольственные посылки.

Кроме того, комитет оказывал материальную помощь при захоронениях. А могилы русских добровольцев и участников Экспедиционного корпуса разбросаны по всей Франции, но наиболее крупные захоронения были в Мармелоне, в департаменте Марна. Там стоит церковь, такая же, как на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, также работы Александра Бенуа, и на этом военном кладбище похоронено много русских волонтеров, у которых были очень большие потери во время войны. Впоследствии, после революции, русские волонтеры оказались в довольно сложном положении. Экспедиционный корпус уже назывался Русским легионом, часть его личного состава вернулась в Россию, другая осела во Франции. Сохранились документы — сообщения и переписка — об оказании помощи последним вплоть до 1925 г. Это любопытный человеческий материал, который Александру будет полезен.

Я очень высоко оцениваю этот доклад, он интересен и, главное, очень перспективен, хотя, повторяю, действительно эти материалы очень разрозненные, случайные, и сводные подсчеты и расчеты, наверное, будет трудно сделать.



**В.П. БУЛДАКОВ:** Несколько замечаний к докладу А. Сумпфа. Выбранной им темы хватило бы на несколько не только докладов, но и монографий. Прежде всего, к вопросу о численности русской армии. Людские ресурсы царской России вовсе не были безграничны, главным образом, по причине крайне низкой производительности труда в сельском хозяйстве, в котором была занята основная масса населения. Насколько мне помнится, в армию планировалось призвать 15,5 млн человек к концу 1917 г.; фактически же успели призвать 13,5 млн.

Относительно количества дезертиров точных данных нет. Считается, что к 1917 г. их было около 1,5 млн, но эта цифра сомнительна, поскольку обычно фигурировала в либеральных нападках на военное руководство. Хотел бы заметить другое: обычно дезертировали не коллективно, а вдвоем — после совместной выпивки в увольнении. Особенно много среди дезертиров было бывших крестьян, не вернувшихся из отпуска. После госпиталей чаще не возвращались на фронт горожане. Несомненно, среди дезертиров было немало диссипативных элементов, которые позднее в качестве полевых командиров активно использовались большевиками для уничтожения своих противников. В годы Гражданской войны дезертирство в Красной армии приобрело угрожающий для новой власти характер. В общем, люди, не желавшие выполнять свой гражданский долг (личности, оказавшиеся за пределами старого и нового типа социализации в экстремальных условиях), сыграли громадную роль в «красной смуте». Можно сказать, что масштабы десоциализации соответствовали размаху Гражданской войны.

Колоссальную роль сыграли и так называемые фронтовики — солдаты, стихийно объединявшиеся в свои собственные местные организации. Общероссийских ветеранских организаций не существовало и не могло существовать: для России мировая война обернулась войной внутрисоциальной — гражданской. Как правило, фронтовики составляли вооруженную опору большевиков в городах, однако до определенного момента. К примеру, в Ижевске и Воткинске свергли большевиков именно фронтовики, возмущенные террористическими крайностями новых властей, к которым подключилась масса рабочих, составивших со временем ударную силу армий Колчака.

Мне кажется, что военный опыт не оказал в России столь мощного социокультурного влияния, как в Европе. Возьмем проблему военнопленных. Известно, что в России военнопленные центральных держав (особенно славяне), занятые на сельхозработах, ощущали себя неплохо, многие женились на русских крестьянках. Вероятно, позитивное впечатление о плене относится к числу общих явлений, упорно замалчиваемое патриотической пропагандой. Мне приходилось общаться с японцами, побывавшими в плену в СССР после 1945 г., у них осталось благоприятное впечатление о русских (хотя условия содержания их, как известно, комфортными никак не назовешь). Не думаю, что они лукавили: матерные слова (другие почти не запомнились) они вспоминали с искренним удовольствием.

Не следует думать, что все русские солдаты, побывавшие в годы Первой мировой войны в немецком плену, составили такое же негативное представление о Германии, какое внушала официальная российская пропаганда. В отличие от военнопленных, оказавшихся в лагерях, русские люди, работавшие на бауэров, то есть занимавшиеся привычным крестьянским трудом, пытались даже усвоить кое-что из культурного опыта своих хозяев. Так, описаны случаи, когда воен-

нопленные, вернувшиеся домой, поражали своих односельчан тем, что носили шляпы и строили... туалеты. Увы, ни шляпы, ни туалеты в русской деревне не привились. Даже участие в Великой Отечественной войне не привело к тотальной «клозетизации» русской (украинской, белорусской) деревни (это началось только в 1960-е гг.).

В любом случае, мы не научились анализировать личностный аспект социокультурного воздействия войн. Более того, от изучения такого опыта мы обычно уходим — сказывается привычка противопоставлять войну и мир, не говоря уже о воздействии официальных патриотических доктрин. Между тем, как ни парадоксально, некогда войны составляли естественный фон культурного взаимообогащения человечества. Нельзя забывать и о том, что именно на войне, в условиях девальвации прежних жизненных ценностей, вооруженный человек получает возможность ощутить собственную силу и значение своих *личных* решений.

**Т.Ю. ВОРОНИНА:** Я из Центра устной истории Европейского университета. Меня интересует память о блокаде, как она артикулируется в разных публичных пространствах. Первое, на что я обратила внимание, — это то, что места, где публично говорят о блокаде, очень разные, но в целом она по-прежнему презентуется в первую очередь как событие, важное для истории города и государства, но не для человека. Почему историкам неинтересно то, как люди говорят о блокаде? Потому что, на мой взгляд, историки не обладают инструментарием, которым снабжены люди, работающие с литературой. Литература дает нам инструментарий для понимания человека. И в этом смысле я считаю удачной находкой организаторов конференции возможность услышать мнение литературоведов.

Второй момент, о котором я бы хотела сказать, касается концепта травмы в истории. Мне кажется, что одной из особенностей презентации советской истории является полное отсутствие травмы. Смысл, который придаетя российскими политиками войне (и Первой мировой, и Второй мировой), не подразумевает ее вовсе. Когда были опубликованы произведения Гинзбург? Когда мы узнали о человеческом измерении блокады? Довольно поздно. До этого времени блокада была важным ресурсом для другой, «государственной» жизни. Блокада оправдывала внешнюю и внутреннюю политику советского государства и не касалась человека. В докладах мы видим травму, которая в отличие от рациональных государственных конструкций, может быть и чудовищной, и бесполезной. И в этом смысле блокада является угрозой человеку и его личности. Человек выходил из травматического состояния разными способами, в том числе посредством творчества.

Когда мы говорим о социальной личности и поднимаем вопрос вообще о личности в истории, мы прибегаем к социальному детерминизму, пытаясь объяснить поведение человека через знание исторической ситуации и социальных обстоятельств, забывая, что у человека всегда есть выбор. Поэтому эта секция и эти доклады дают возможность отказаться от прямых выводов о воздействии каких-то больших процессов на личность и дают возможность увидеть собственно человека, который на самом деле сам является активным участником исторического процесса и сам во многом определяет его ход и видение.

Вопрос коллегам: чем можно объяснить то, что тема жертвы появляется только в литературном поле, когда о травме мы можем прочесть только в дневниках

или в художественной литературе? Почему эти темы не перешли в другие поля культурного производства?

**О. ВЕЛИКАНОВА:** Мой комментарий к выступлению коллеги А. Сумпфа. Александр поднял тему о роли опыта войны в политическом взрослении российского общества. Возникновение гражданского самосознания, как результат такого возросшего уровня зрелости общества, пугало большевистских лидеров и соответственно подавлялось. Это одно из возможных направлений развития этой темы.

Очень важным сюжетом сообщения является официальное непризнание жертвы ветеранов и инвалидов не только Первой мировой войны, но и Гражданской войны. Хотелось бы пожелать автору более подробного развития его тезиса: «большевики не разрешали обществам ветеранов строиться и расти, затем их ликвидировали». Мотив поминовения погибших и внимания к инвалидам практически отсутствовал в официальном дискурсе, когда отмечали десятилетие начала Первой мировой войны в августе 1924 г. и десятую годовщину Октябрьской революции в 1927 г. В то время как власти почти игнорировали память о ветеранах, в коллективной памяти поколения тема жертв Революции и Гражданской войны оставалась ярким сюжетом. Это огромная группа населения, как указал Александр, 1,8 млн человек в начале 1920-х гг. Комиссар социального обеспечения Наговицын сообщал в 1927 г. о 600 тысячах *всех* инвалидов.

Мы, историки, по-прежнему часто принимаем саморепрезентацию режима не критически. Например, в нашем случае это заявленная большевистским правительством программа социального обеспечения, принятые законы о пенсиях, привилегии семьям красноармейцев, привилегии по трудоустройству и т. д. Однако, как свидетельствовал Наговицын, сравнивая с программами других воевавших государств, средства государства на эти цели были в несколько раз меньше (в процентном отношении к бюджетам), пенсии мизерны, не охватывали всех инвалидов, к тому же перечисленные политические меры, привилегии слишком часто не выполнялись, что дополнительно озлобляло население.

Кроме этого, попытки практически брошенных на произвол судьбы ветеранов и, в частности, инвалидов организовать, подавлялись. Причины игнорирования и подавления режимом групп ветеранов и инвалидов (запрет на ношение орденов — Георгиевских крестов — чего стоит!) заслуживают особого рассмотрения. Они отражали не только экономическую несостоятельность советского режима или идеологические соображения (белые армии ассоциировались с царской армией). Режим просто боялся солидарных групп, тем более с боевым опытом. Например, «красные партизаны» в Сибири представляли активную группу, противостоявшую советской политике в деревне.

Официальное непризнание жертвы ветеранов Первой мировой и Гражданской войн имело долговременное значение и внесло свой вклад, во-первых, в криминализацию всего общества — пресловутый бандитизм 1920-х гг.; во-вторых, в разочарование, охватившее общество в конце 1920-х гг.; в-третьих, когда режим вновь обратился к населению с требованием новой жертвы, с призывом защитить завоевания революции в военной тревоге 1927 г., общество ответило «нет». Невыполнение государством своих очень скромных обязательств перед инвалидами, семьями погибших, а также перед семьями служащих в дан-

ный момент красноармейцев, внесло свой вклад в массовые пораженческие настроения в 1920-е гг. и, в частности, в 1927 г.

**Й. ХЕЛЛЬБЕК:** Я хочу коснуться темы «Человек на войне», «Человек в истории». Самым наглядным образом человек в истории предстает, конечно, в докладе Э. Ван Баскирк. Вот где историческое сознание фигурирует на первом месте, где индивид думает о новой исторической эпохе, которая должна породить новый тип личности. Вопрос: насколько это было ее автономное мышление, и насколько можно вообще ее контекстуализировать как продукт своей эпохи? На это, по моему, И. Халфин намекал, хотя я хотел другое направление проследить.

Два замечания по этому поводу. Первое: это желанное видение нового гражданского сознания, о котором волнуется Лидия Яковлевна, замечается также в осажденном Сталинграде (Василий Гроссман), и тоже разочарование после войны, после окончания Сталинградской битвы. Второе: контекстуализация, насколько ее работа на ленинградском радио, там, где, наверное, слышится пульс метронома, пульс истории, тоже влияла на ее историческое сознание?

Этот вопрос об историческом сознании я бы хотел отнести и к докладам А. Пери и П. Барсковой. В них есть этот оттенок исторического, хотя он и не подчеркивается должным образом. Они, наоборот, акцентируют уход человека внутрь себя, в психологическое «я». Я бы хотел, наоборот, отметить историческое. Говорить о себе от третьего лица, мне кажется, возможно не только как стратегия самоотстранения, отстранения от боли, но это возможно и как сознательный исторический подход — говорить о себе от третьего лица для подготовки будущего архива, более нейтрально.

Я вижу достаточно много оттенков в докладе Алексис, где сами художники говорят о духе эпохи, о красоте этой эпохи. То есть сознание эпохальности явно фигурирует. Я хотел бы задать вопрос: какие ресурсы предлагаются людьми в блокадном Ленинграде для самовыражения, сближения, самоидентификации с осадным городом (город как метафора истории)? Это мне кажется очень важным. Как сами жители блокадного города ощущают пафос истории?

Еще два коротких замечания. Фашисты не появляются ни в одном из докладов, только Алексис о них упоминает. Я так подозреваю, что они должны быть очень важным обратным фоном для самоопределения человека, для создания блокадной личности. По-моему, очень уместно проводить различие между блокадным «я», которое совсем не различает в нарративном плане тело и живот — это могут быть разные части, в отличие от сознательной работы по выстраиванию блокадной личности, которая подразумевает именно моральную личность. И мне кажется, это может быть не артикулировано, но в подсознании того времени фашисты точно где-то присутствуют как причина этой блокады.

Авторы докладов рассматривают дневник как индивидуальное средство выживания. А насколько ведение дневника являлось социальным заказом того времени? Насколько это было действительно артикулированной потребностью ленинградцев того периода?

**М. ФЕРРЕТТИ:** У меня есть только два коротких замечания. Первое: было бы важно для русских коллег издавать по-русски некоторые работы западных ученых.

У нас Первая мировая война изучается вот уже тридцать лет в новых измерениях, и поскольку здесь сейчас начинается такая работа, это было бы очень важно.

Второе: по поводу темы «Личность и война». Для меня был всегда очень важным момент, как формировалось поколение фронтовиков Второй мировой войны. Это действительно очень важный момент, показывающий, как рассуждения во время войны формировали то, что М.Я. Гефтер называл «духом свободы». Специально я никогда этим не занималась, но это можно найти во всех воспоминаниях, которые я когда-то читала. На это надо обратить внимание, потому что без этого невозможно и понимание «оттепели». Возьмем опыт журнала «Новый мир». Кто там были главные деятели? Твардовский, Симонов и другие — они все прошли испытание войной. Несомненно, опыт Второй мировой войны и, может быть, послевоенные репрессии сыграли очень важную роль в самопознании интеллигенции и в ее дистанцировании от режима.

**С.В. ЯРОВ:** Мне кажется важным обратить внимание на следующие аспекты. Первое. Уже возникал вопрос об артистичности дневников, о том, что автор использует несколько приемов. Здесь уместно подчеркнуть достоинства подхода Т.Ю. Ворониной. Артистичность дневника ценна тем, что она позволяет стирать ту травму, которую наносит блокада. По дневнику Елены Мухиной отчетливо видно, как стирается травма. Например, травма стыда — она съела конфеты, утаив их от матери; она не поделилась желе, которое ей дали в школе, спрятала его. Как избавиться от этого, как стереть эту травму? В одном случае это игра: она играет этими конфетами, представляет их человечками. Во втором случае это самооправдание: сейчас этого желе мало, маме всё равно не хватит, а вот потом я целую банку накоплю и с мамой поделюсь. Это первый прием стирания травмы — посредством игры или самооправдания.

Второй прием стирания травмы — это преодоление одиночества, тоски и безысходности. Девочка пишет, как она будет путешествовать после блокады. Описание чрезмерно, она не просто описывает то, как сядет в вагон и будет ехать. Нет, этого недостаточно, в вагоне должны быть занавески голубые, на столике чай, вкусный пирог, интересные картины, уют, — всей чрезмерностью она выдавливает эту блокадную травму. Затем — травма еды, травма блокадного голода. Как она ее выдавливает? Она сочиняет потрясающий текст — что она будет есть после блокады. Читать это вообще без волнения трудно. Груды пирожков — отдельно с мясом, жареные с капустой, обильно политые маслом, потом бутерброд, густо намазанный маслом и с колбасой такой толщины, чтобы зубы утопали. Вот так купируется травма у человека, отсюда артистичность ее дневника.

Дальше — травма гибели матери. Она использует несколько приемов, чтобы стереть эту травму. Один из них — ничего не писать о матери. Первая запись в ее дневнике после 6 февраля 1942 г., когда мама погибла, — это просто описание того, как она отдала карточки, как она покупает гроб... Ничего нет о матери, несколько дней терпит, старается ни слова не написать. Второй прием стирания травмы — она записывает: мне хорошо, у меня есть банка крупы, у меня мясо, у меня, там, хороший хлеб, в общем, мне очень хорошо, и так далее. Это ей помогает. Дальше — следующий вариант стирания травмы. Запись о том, что мама не погибла, она скоро придет — и ей помогает.

Четвертая попытка стереть травму — просто представить мать как живую. В дневнике идет диалог с совершенно живым человеком: ну-ка, помоги мне встать, ну-ка подвинься. Вот откуда возникает эта артистичность. Это разные способы стирания, вытеснения. Она смотрит американский фильм, описывает свои впечатления от этого фильма. Это потрясающее описание. Вот она пишет об Америке: реклама, реклама без конца, блестящие рекламы, прилизанные мужчины, красивые женщины, вихрь какой-то, любовь и вино... Это пишет, кстати, девятиклассница после сталинского катка воспитания. Это тоже ее прием — чрезмерно выдавить эту тоску и безысходность. Мне кажется, на это стоит обратить внимание.

О дневнике Никольского, которого цитирует в своем докладе П. Барскова. Дневник характерен тем, что человек сначала усваивает патетическую позу. У него роскошный альбом. Он пишет: это дневник академика архитектуры, но получается так, что блокадная повседневность не позволяет ему играть патетическую роль, она его прижимает к земле. Он описывает в своем дневнике, как он ходил, упрашивал, кланчил для больной жены шоколадки, как ему сказали, когда он просил хлеба: «Идите покупайте на рынке», — это запись мелких бытовых происшествий. Патетизация не удается человеку, как бы он ни пытался это сделать.

Барскова приводит описания больных людей на улицах. Тут очень важно учитывать одно обстоятельство: а как люди смотрят на других людей? Вот мы читаем дневники и сразу видим отчетливо одну особенность: если человек умирает, но еще не просит помощи, то описание чрезмерно подробно, в человека вглядываются. Если человек прямо просит помощи, то сразу описание укорачивается, редуцируется, человек старается быстрее пройти и не заметить.

И последнее замечание по поводу доклада Э. Ван Баскирк. Надо иметь в виду, что Гинзбург писала на самом деле роман. Отсюда и специфика ее текста. Она сначала подготавливала краткие блокадные записи. Потом у нее возникла мысль написать художественный роман, но эту мысль она не реализовала до конца, и остался такой промежуточный вариант между историческим и художественным исследованием, «Записки блокадного человека». Это и не историческое исследование, и не художественное, а некий новаторский эксперимент, и в этом, наверное, его достоинство.

**Б.И. КОЛОНИЦКИЙ:** Я совершенно согласен с В.П. Булдаковым, который сказал, что для реализации проекта А. Сумпфа нужно несколько книг, а не одна. На самом деле, мне кажется, и этого будет недостаточно. Понадобится еще одна книга, посвященная теме памяти, которую на одном из наших коллоквиумов затронул Дэн Орловски в докладе о Первой мировой войне. Память в других странах была связана очень часто с важными художественными текстами, произведениями искусства. В русской традиции, несмотря на гордое самосознание великой литературной державы, мы не сможем вспомнить ни одного большого литературного произведения, посвященного Первой мировой войне, мы не вспомним ни одной большой картины. «Хождение по мукам» — все-таки это не Ремарк, не Юнгер.



И уж точно мы не вспомним больших русских литературных произведений среди книг, написанных в годы Первой мировой войны. Ничего подобного Барбюсу, английской военной поэзии, Вальтеру Флекку, книга которого, «*Der Wanderer zwischen zwei Welten*», по тиражам считается одним из самых популярных произведений немецкой литературы. Почему? В Советской России, конечно, всё фильтровалось, текст Алексея Толстого, например, искажался и менялся, но и в более благоприятных цензурных условиях эмиграции большие тексты не появились. И есть некоторые предположения, почему этого не было. Л.А. Булгакова верно говорила о большом присутствии фронтовиков, унтер-офицеров в военной элите Красной армии. Но точнее было бы говорить еще об одном очень важном эпизоде для всех этих людей: и Жуков, и Рокоссовский, и Конев, — члены полковых комитетов, этого «комитетского класса», появившегося после Февраля. И тут мы найдем что-то общее с европейским контекстом, я имею в виду все разговоры о появлении «нового человека» в «стальных грозах» Первой мировой войны, разговоры о появлении «транчерократии», «окопной аристократии». На самом деле этот проект в больших масштабах был реализован при появлении этого «комитетского класса», который нуждается в изучении, несмотря на то что мы имеем очень хорошую книгу Виктора Иосифовича Миллера.

**А. СУМПФ:** Спасибо за высокую оценку моей работы и за интересные замечания. Действительно, много книг и статей можно написать об этом, и я не говорил нигде, что я буду один. Конечно, работа предполагает сотрудничество, и, конечно, все пошло в атаку на этот фронт. Все-таки у меня только первые результаты, особенно в подходе к источникам.

Первый вопрос Л.А. Булгаковой. Я считаю, что терминология не так проста. Термин «фронтовик», конечно, не использовали так рано, это скорее большевистская и коммунистическая терминология. Может быть, я не так выразился, но я никогда не говорил, что радикализация и участие в революции — это не политическое действие. Я говорил про их политические убеждения до войны. Они пока мне не ясны, и это большая проблема для меня.

Отвечая С.И. Потолову — я как раз начинал интересоваться Русским экспедиционным корпусом. Добровольцы, которые жили тогда во Франции, в действительности служили не в рядах собственно французской армии, а в Иностранном легионе, это другая проблема. Я также уточню, что французские власти восемь тысяч из этих русских солдат в Первой мировой войне на Западе потом послали в концлагерь в Африке, я буду скоро писать статью об этом.

Я согласен с замечанием В.П. Булдакова насчет дезертиров. Конечно, некоторые были случайными и зависели от строгости военных регламентов в этой области, и конечно, всё менялось в 1915–1917 гг. Для меня очень важен вопрос, когда именно сами дезертиры начинали осознавать себя дезертирами, это тоже к терминологии. Второй момент: вы сказали, что когда попадали в плен в частные руки, это — рай, а в лагерь — ад. Это зависело от того, в какие частные руки. В городе, на заводе, где работали четырнадцать часов подряд, конечно, было иначе, чем в деревне, или в глубине страны, или ближе к фронту. Здесь есть еще что обсудить.

По поводу замечаний О. Великановой. Цифры, разумеется, относительные и являются целой проблемой. Даже сама большевистская следственная комиссия

не успела выяснить, сколько, например, было пропавших без вести в русских рядах, сколько дезертиров, сколько военнопленных. Мне очень интересно ваше замечание о нарративе разочарования. Разочарование — по сравнению с какими ожиданиями? От каких опытов? Это вопрос на перспективу.

Я согласен с замечанием Б.И. Колоницкого. Я тоже хотел писать о памяти, но объем доклада не позволил. Приму во внимание ваши советы и надеюсь еще написать об этом подробнее.

**Э. ВАН БАСКИРК:** Вопрос Ирены Салениеце о том, каким было описание блокадного человека уже в конце блокады, то есть когда необходимость в героизме отпадает, как Вы говорите. В записях Л.Я. Гинзбург о том времени, когда самая главная травма уже в прошлом, есть один всё еще не опубликованный рассказ о жалости и о жестокости, о смерти ее мамы. Она пишет, что тогда, когда стало жить немного легче, жертва затруднилась. Именно эти проблемы, она, собственно, и изучает во вторую половину блокады. Описывая уцелевших дистрофиков, Гинзбург видит там мало основания для ожидания такого морального роста, которого она жаждет увидеть. Самопожертвование в крайних случаях легче как-то, чем после этого.

Второй вопрос о прогрессе человечности, связанный отчасти и с вопросом И. Халфина. Лидия Гинзбург по образованию была гегельянкой, очень важный момент. Гегельянство — это также марксизм, и она хотела видеть историю как какое-то развитие, может быть, прогресс. Но поскольку самые свои большие надежды она связывала с новой Спартой или эскапической гражданственностью, я думаю, это — не самое оптимистическое решение вопроса истории. У меня была мысль — неужели единственный выход для интеллектуала виделся в самопожертвовании для страны, или, может быть, в написании военной пропаганды или памфлетов? Спарта — это милитаризм, и это странная мечта для послевоенной России.

Важный для изучения вопрос — проблема советизма в записях Лидии Яковлевны. По какой причине можно найти точки совмещения в записях с марксистским проектом — анализ, классификации, социологизмы, гегельянство, марксизм? Есть некоторые интеллектуальные причины, по-моему, серьезные, есть и просто неизбежное влияние окружающей среды, языка. Невозможно, чтобы информация этого времени не вошла в нее. Интересно, что это проявляется у нее больше в неопубликованных записях, а я остановилась именно на них. Они скоро появятся в публикации «Книга блокадной прозы» Лидии Яковлевны Гинзбург, которую я уже несколько лет готовлю вместе с А. Зориним. Там будет много записей, которые она никогда не опубликовала. Это вопрос о построении в позднесоветском периоде своего образа — и как мыслителя, и как автора. Это также связано с вопросом Йохена о Гроссмани в Сталинграде. Конечно, были эти совпадения с духом надежд у Гроссмана о новом гражданстве. Интересно, что у Лидии Яковлевны это произошло из-за блокады.

**А. ПЕРИ:** Первый вопрос Й. Хелльбека об историческом «я». Вы правы, здесь я рассмотрела только один маленький аспект личности во время блокады. Сегодня я говорила только о двух дневниках, в моей работе их более ста двадцати, многие

другие писали дневник действительно как исторический проект. Они сознательно собирали материал для историков, чтобы в будущем исследовать блокаду и собрать архив. Это так. На мой взгляд, это не самая главная тема в дневниках Мухиной и Матюшиной. Вы задали вопрос о нейтральности. Так почему же они писали от третьего лица? Может быть, это связано с историческим «я», а может быть, они хотели использовать более нейтральный тон — это очень интересный вопрос, я должна подумать об этом в дальнейшем. Мне кажется, что по крайней мере в этих двух дневниках рассказчики не пытаются быть нейтральными. О фашистах. Здесь вы тоже правы, я не упомянула их, но они, конечно, присутствуют в дневниках. Но на мой взгляд, особенно зимой 1941–1942 гг. и Мухина, и Матюшина всё меньше и меньше говорили о фашистах и всё чаще и чаще писали о блокаде как о внутренней борьбе с самим собой. Этот аспект я и пыталась раскрыть сегодня.

Благодарю С.В. Ярова за вопросы. Знаю, что вы очень хорошо знаете оба дневника, особенно дневник Мухиной. Спасибо за напоминание и о других мотивах, как Вы назвали их «мотивы игры, путешествий, кино, рекламы», конечно, они все там присутствуют. В особенности в дневнике Мухиной — таком сложном, богатом тексте. В своих статьях я уже немного затронула другие аспекты ее произведения, например, то, как она описывала блокаду как большую школу, а свои блокадные переживания — как образование. Однако я не успела сегодня об этом сказать.

Я совершенно согласна с Т.Ю. Ворониной: очень важно обратить внимание на то, как люди вообще говорили и писали о блокаде. Обучалась я на историческом факультете, я знаю, вы подумали, что это не так, но, честное слово, я старалась читать эти дневники как историк. В данном случае я рассматривала их как уникальные тексты, не пытаюсь обобщить или вывести социальные типы. Дневники Мухиной и Матюшиной художественно многоплановые, там и стихи, и новелла, и просто, по-моему, невозможно читать их дистанцированно. На мой взгляд, мы как историки не должны игнорировать художественные аспекты текстов, с которыми работаем.

**П. БАРСКОВА:** Благодарю С.В. Ярова за очень тонкие наблюдения и бесконечное напоминание, что можно очень долго пытаться смотреть на текст, а потом он как-то поворачивается по-другому. Для этого мы и ведем обсуждение. Очень хорошо, что вы спросили об Остроумовой и моменте эстетизации смерти. Я не считаю блокадные работы Остроумовой частью её дневника, а ее дневник гибридным, мне кажется, это другое явление. Я читаю блокадные работы Остроумовой совместно с блокадной работой Павла Шиллинговского, и это связано с эстетизацией смертного облика города. Об этом я написала в статье, которая является частью кластера “Slavic Review”. Там же есть статья Э. Ван Баскирк, где она рассуждает об особенностях травматического синдрома, как он описывается у Гинзбург, а в приложении к нашему сборнику статей мы рассказываем нашим коллегам о проекте Ярова-Ворониной, о проекте Ломагина, так что более или менее диалог происходит. И именно в этом смысле я говорила о состоянии дел с изучением блокады — не в смысле, поверьте мне, провокации, а в смысле надеж-

ды и тревоги, надежды на диалог между представителями разных стран и разных дисциплин.

С замечанием по поводу стиля Филонова я, в общем, согласна. Очень увеличивается предельная цена идеологического, стилистического вызова и выбора. Одним из наиболее ярких симптомов являются документы, хранящиеся в ЛОС-Хе. Это переписка той же самой бесконечно дорогой моему сердцу Татьяны Глебовой с Владимиром Серовым. Она пытается немножко заработать на хлеб, рисуя открытки, носит их Серову на одобрение. И он переучивает ее, превращает ее в соцреалиста тем, что соглашается принять открытку только тогда, когда она станет правильной открыткой. А пока он принял эту открытку, у нее умирает отец. Так что стиль блокадной репрезентации — это интересная вещь с этой стороны тоже.

Очень интересный вопрос по поводу того, что делают люди в интердисциплинарном пространстве. Вопрос приращения знания. Я сейчас работаю с очень любопытной серией работ художника Дормидонтова, столь любимого многими из нас, одного из любопытных изображателей НЭПа. Дормидонтов в 1941 г., во-первых, не получил разрешения на работу на улице, во-вторых, быстро ослаб. Есть цикл работ. На первый взгляд, на второй, на третий — они неразличимы. Он сидит у себя в комнате на углу Гороховой и рисует то, что видит из окна. И вот тут методы искусствоведения могут многое нам сказать о блокаде Ленинграда. Меняется не только вид: появляются новые руины, на сугробе лежит труп, потом на сугробе лежит скелет и т. д. Но меняется и техника Дормидонтова, у него кончаются краски, у него начинает дрожать рука, он изобретает новые методы. Мне кажется, думая об этом, мы можем что-то узнать о блокаде без цифр.